



Е. ТРУБЕЦКОЙ

Личность В. С. Соловьева

I

Кому случалось хоть раз в жизни видеть покойного Владимира Сергеевича Соловьева — тот навсегда сохранял о нем впечатление человека, совершенно непохожего на обыкновенных смертных. Уже в его наружности, в особенности в выражении его больших прекрасных глаз, поражало единственное в своем роде сочетание немощи и силы, физической беспомощности и духовной глубины.

Он был до такой степени близорук, что *не видел того, что все видели*. Прищурившись из-под густых бровей, он с трудом разглядывал близлежащие предметы. Зато, когда взор его устремлялся вдаль, он, казалось, проникал за доступную внешним чувствам поверхность вещей и видел *что-то запредельное, что для всех оставалось скрытым*. Его глаза светились какими-то внутренними лучами и глядели прямо в душу. То был взгляд человека, которого внешняя сторона действительности *сама по себе* совершенно не интересует.

Трудно представить себе выражение более прозрачное, искреннее, более соответствующее духовному облику. Всякое душевное движение отражалось в его лице с совершенно исключительной яркостью. Когда он негодовал, он становился прекрасен и грозен: в нем чувствовалась сила, наводившая страх. Когда он смеялся, его громкий заразительный смех «с неожиданными, презабавными икающими высокими нотами» * покрывал все голоса. В этом детском смехе взрослого человека было что-то с первого взгляда неестественное, что привлекало общее внимание; казалось, что он с преувеличенной силой реагирует на те комические положе-

* Выражение В. Л. Величко: Владимир Соловьев. С. 142¹.

ния и случаи, которые в других вызывают только улыбку. Но фейерверк остроумия, обыкновенно сопутствовавший этому веселому настроению, показывал, что он обладает удвоенною против других чувствительностью к смешному. В этом смехе находил себе выход накопившийся избыток душевной энергии: подчас в нем сказывалась потребность отряхнуть от себя тяжелые думы. И точно, веселое настроение иногда вдруг как-то разом сменялось у него безысходной грустью: людям, близко его знавшим, случалось видеть у него совершенно неожиданные, казалось бы, ничем не вызванные слезы. Помню, как однажды обильными слезами внезапно кончился ужин, которым Соловьев угощал небольшое общество друзей: мы поняли, что его нужно оставить одного и поспешили разойтись. Слезы эти исходили из задушевного, мало кому понятного источника; их можно было наблюдать сравнительно редко. Но часто, очень часто приходилось видеть Соловьева скучающим, угрюмо молчащим. Когда он скучал, он был совершенно неспособен скрыть свою скуку. Он мог молчать иногда часами. И это молчание человека, как бы совершенно отсутствующего, производило иногда гнетущее впечатление на окружающих. Одним это безучастное отношение к общему разговору казалось признаком презрения; другим — просто-напросто было жутко чувствовать себя в обществе человека из другого мира.

Эксцентричность его наружности и манер многих смущала и отталкивала; о нем часто приходилось слышать, будто он «позер». Люди, его мало знавшие, склонны были объяснять в нем «позой» все им непонятное. И это тем более, что все непонятное, и особенно в человеке, обладает свойством оскорблять тех, кто его не понимает. На самом деле, однако, те странности, которые в нем поражали, не только не были позой, но представляли собой совершенно естественное, более того — *наивное* выражение внутреннего настроения человека, для которого здешний мир не был ни истинным, ни подлинным.

Он, живший в постоянном соприкосновении с *миром иным*, обладал совершенно исключительной чувствительностью к пошлости окружающего. Эта пошлость давила его, как кошмар. Об этом сам он говорит в чудном стихотворении:

Какой тяжелый сон! В толпе немых видений,
Теснящихся и реющих кругом,
Напрасно я ищу той благодатной тени,
Что тронула меня своим крылом.

Но только уступлю напору злых сомнений,
Глухой тоской и ужасом объят, —

Вновь чую над собой крыло незримой тени,
Ее слова по-прежнему звучат.

Какой тяжелый сон. Толпа немых видений
Растет, растет и заграждает путь,
И еле слышится далекий голос тени:
«Не верь мгновенному, любви и не забудь»².

Соловьев никогда не оставался глух к этому призыву. По сравнению с *нездешним* миром, наполнявшим его душу, *наша* жалкая действительность вызывала в нем или скуку, или грусть, а иногда — настроение, близкое к отчаянию, от которого он освобождался смехом. Все эти внешние проявления его душевной жизни казались ненормальными и преувеличенными только потому, что в них в самом деле сказывалась величина, далеко превосходившая обычный уровень.

В связи со всем сказанным станет понятным, что Соловьев был совершенно лишен понимания к *прозе жизни*. «Я признаю поэзию только в виде стихов», — говорил он мне как-то. Это было сказано *cum grano salis*³; но, если откинуть эту дозу аттической соли, в приведенном изречении все-таки останется серьезный и характерный для Соловьева смысл. Он, с его необычайным эстетическим чутьем, с его редким поэтическим даром, не ценил и, по-видимому, не понимал величайшего из современных прозаиков — поэта будничной действительности — графа Л. Н. Толстого. Я говорю не о философии последнего, которая была совершенно *понятною*, но по другим причинам несродною Соловьеву, а именно о толстовских романах. В первой речи о Достоевском он, правда, признает за Толстым мастерство в тончайшем воспроизведении механизма душевных явлений, и в особенности — в «живописи внешних подробностей». Но ни то ни другое его в действительности не интересовало. В откровенных разговорах с друзьями он признавался, что «Война и мир» и «Анна Каренина» вызывали в нем скуку. «Я совершенно не перевариваю этой здоровой обыденщины», — говаривал он мне. И в самом деле, людям, хорошо знавшим Соловьева, совершенно невозможно представить его себе увлекающимся изображением хозяйственных и семейных забот какого-нибудь Левина, а тем более — красочным толстовским описанием какой-нибудь охоты или скачки. Популярнейший из современных художников был ему, в общем, совершенно чуждым: он и тут оставался слеп к тому, что «*все видели*», потому что сила его умственного зрения поглощалась другой, более возвышенной сферой, которая далеко не «*всем*» была доступна. По этой же причине он, обитатель горных высей, становился так безучастен, когда шедший вокруг него

оживленный разговор выходил на житейскую равнину. Тут взор его окончательно потухал: он погружался в безнадежное, упорное молчание просто потому, что не был способен понимать и даже слушать.

Эта особенность душевного склада Соловьева может быть пояснена сравнением. Кому случалось когда-либо восходить на высокую гору, тот знает, конечно, что вид на равнину всегда красивее с *полугоры*. Когда мы достигаем горной вершины, пейзаж становится тусклым, серым и унылым: там блекнут яркие краски, которые составляют красоту равнинного пейзажа: картина начинает напоминать топографический план. Соловьеву наша житейская проза казалась гораздо более, чем нам, бесцветною и скучною именно потому, что он слишком высоко над нею поднимался. И по той же причине он неизмеримо превосходил современников захватывающей *широтой* своего кругозора.

С этой чертой связана та житейская наивность Соловьева, которая так живо напоминает классическое изображение философа, данное Платоном: «С юных лет избранник мудрости не знает дороги на площадь, не ведает, где суд, совет или какое-либо другое место публичных собраний. Законы его страны ему неизвестны»; «В действительности он живет и вращается в государстве только телом, ум же его все это мало ценит и ни во что не ставит; но, говоря словами Пиндара, он всюду проникает, измеряя недра земли и то, что над нею, возносится над небом, изучая астрономию, везде исследует природу сущего и не спускается к близлежащему». В земных, рабских делах философ не смыслит, он не умеет даже завязать своего дорожного мешка; и все это юродство происходит оттого, что на земле он живет гостем. В наших земных сумерках он подслеповат именно оттого, что он привык к яркому солнечному свету небесной своей родины*.

В жизни Соловьева мы найдем сколько угодно иллюстраций к этой платоновской характеристике философа. Известно, как высоко он ценил положительный смысл земной деятельности, и однако рядом с этим мне пришлось убедиться в удивительной спутанности его понятий о земстве. Помнится, однажды нам нужно было вместе повидать одного общего знакомого, который оказался на земском собрании. Я предложил его отыскать, и Соловьев был очень удивлен моим заявлением, что присутствовать в качестве слушателей на земском собрании могут посторонние. Как он мне сказал, он думал, что «земство — что-то вроде канцелярии». В особенности в области экономической он поражал при-

* Thedetetus, 174; Gorgias, 484; Civitas, I, IV⁴.

митивностью своих суждений. Однажды он высказал мне, что признает грехом брать проценты, хотя бы и незначительные: однако тут же выяснилось, что он считает совершенно негреховным держать процентные бумаги, так как в данном случае плательщиками процентов являются государство, банки, вообще учреждения. Попытки объяснить ему какую-нибудь экономическую истину были бесполезны: он отказывался слушать и даже уверял в своей неспособности понимать.

Житейская беспомощность Соловьева нередко ставила его в положения в высокой степени комические; она же иногда служила источником опасности. Сам он с бесподобным юмором описывает свое путешествие в Сахаре; там, на основании внушения, полученного на спиритическом сеансе, он ждал чрезвычайных откровений и вместо того едва не поплатился жизнью.

Бог весть куда, без денег, без припасов
И я в один прекрасный день пошел, —
Как дядя Влас, что написал Некрасов
(Ну, как-никак, а рифму я нашел).

Смеялась, верно, ты, как средь пустыни
В цилиндре высочайшем и в пальто,
За черта принятый, в здоровом бедуине
Я дрожь испуга вызвал и за то
Чуть не убит...⁵

Наряду с этими чудачествами, составляющими черту сходства между Соловьевым и платоновским изображением философа, существует резкое, бросающееся в глаза отличие. Античный философ чувствует себя, по словам Платона, «чуждым семенем», случайным гостем в здешнем мире. Его идеал — полнейшее отрешение, бегство от земли, в котором вместе с ним должны участвовать лишь ближайшие его друзья и сограждане в тесном смысле слова. Для древнего философа земля остается навеки царством греха и беззакония; напротив, в Соловьеве поражает любовь к «земле-владычице». Цель и конец его поэтического и философского вдохновения не отрешение от земли, а окончательное примирение с нею через преобразование земного в божественном.

Синие горы кругом надвигаются,
Синее море вдали,
Крылья души над землей поднимаются,
*Но не покинут земли*⁶.

Как бы то ни было, с этим горным настроением Соловьев должен был жить с нами среди равнины: он или возносился над нею

в свободном полете вдохновения, или негодовал, боролся, обличал ее плоскость и пошлость, или же, наконец, над нею смеялся, шутил; но, так или иначе, он всегда над нею возвышался. В нем было причудливое сочетание мистического философа-поэта, пророка-обличителя неправды и... балагура. Сочетание это многих соблазняло и смущало; не все понимали, что как его вдохновение, так и его негодование и его смех вытекали из одного общего источника: из его серьезного отношения к жизненному идеалу — из пламенной веры в смысл жизни.

Как философ и поэт, он созерцал небесный свет в его бесчисленных здешних преломлениях и восходил, подобно Платону, от этих отражений к их первоисточнику. Когда этот свет освещал для него глубь земной действительности и делал явным скрытые в ней темные бесовские силы, он, как пророк и обличитель, метал в них небесные громы. Вне этой борьбы света с тьмой жизнь была для него бессмыслицей, шуткой. Такое отношение его к жизни выразилось в одном из наиболее ярких его стихотворений.

Таков закон: все лучшее в тумане,
А близкое — иль больно, иль смешно,
Не миновать нам двойственной сей грани.
Из смеха звонкого и из глухих рыданий
Созвучие вселенной создано⁷.

«Созвучие вселенной» находило себе живой отклик в душе философа. Отдыхая от скорби и напряжения жизненной борьбы, он любил в кругу друзей шутить и балагурить; то был неистощимый, брызжущий источник веселья и остроумия. Трудно передать, как интенсивно мы наслаждались блестящею игрою этого многогранного ума. Между самым серьезным, возвышенным разговором и балагурством для него не существовало той житейской середины, на которой всего чаще останавливается беседа людей обыкновенных.

Образцы этого неподражаемого юмора сохранились в замечательных шуточных стихотворениях покойного философа, напечатанных в приложении ко второму тому его писем и в его драме «Белая лилия», которая в свое время была напечатана. Но особенно живо напоминают его беседы его письма, которые нередко оканчиваются стихами. Тут, между прочим, очаровательны шутки над самим собою, над собственной беспомощностью, безденежьем, над своими недугами и немощами. Уморительна, например, нотация, которую читает ему генерал Фаддеев в ответ на рассказ о приключении с бедуином в Сахаре:

...В молчаньи генерал, поевши супа,
Так начал важно, взор в меня вперив:

«Конечно, ум дает права на *глупость*,
 Но лучше сим не злоупотреблять,
 Не мастерица ведь людская тупость
 Виды безумья точно различать.

А потому, коль вам прослыть обидно
 Помешанным иль просто дураком, —
 Об этом происшествии постыдном
 Не говорите больше ни при ком»⁸.

В других стихотворениях, соответственно поговорке, «что у кого болит, тот о том и говорит», видно стремление освободиться смехом от гнетущей философа острой физической или нравственной боли. Например, в 1896 году он пишет М. М. Стасюлевичу:

Михал Матвеич, дорогой,
 Пищу Вам из казерны,
 Согбен от недуга дугой
 И полон всякой скверны.

Забыты сладкие труды
 И Вакха и Киприды;
 Давно уж мне твердят зады
 Одни геморроиды.

В другом письме жалобы на аналогичные недуги разрешаются пожеланием:

Я на все, судьба, согласен,
 Только плешью не дари:
 Голый череп, ах! ужасен,
 Что ты там ни говори.

Знаю, безволосых много
 Меж святых отцов у нас;
 Но ведь мне не та дорога:
 В деле святости — я пас.

Преимуществом фальшивым
 Не хочу я щеголять
 И к главам мироточивым
 Грешный череп причислять⁹.

Иногда в форму шуточного стихотворения облекается самое предчувствие конца, всегда носившееся перед Соловьевым. Такова, например, его известная эпитафия о самом себе:

Владимир Соловьев лежит на месте этом.
 Сперва был философ, а ныне стал скелетом.
 Иным любезен быв, он многим был и враг;
 Но, без ума любив, сам свергнулся в овраг.

Он душу потерял, не говоря о теле,
 Ее диавол взял, его ж собаки съели.
 Прохожий, научись из этого примера,
 Сколь пагубна любовь и сколь полезна вера.

В этом роде это — не единственное стихотворение; есть другие, где совсем не веселое содержание проглядывает сквозь шутку еще яснее. В 1895 году он пишет Э. Л. Радлову: «Я приветствовал сам себя сегодня следующим правдивым и безыскусственным четверостишием:

В лесу болото,
 А также мох.
 Родился кто-то,
 Потом издох».

Шутка в устах Соловьева часто имела весьма серьезный смысл. Он в особенности охотно острил о том, над чем хотел подняться. Есть у него и шутки иного рода, где за избытком жизнерадостного настроения совсем скрывается его грустная оборотная сторона. Это — порхание бабочки над радужными цветами; но и оно невозможно без крыльев.

II

Немощь и беспомощность Соловьева, о которой мы говорили, была неразрывно связана с его силой. Среди разнообразных даров этой богатой природы совершенно отсутствовали качества заурядные, средние. Неудивительно, что в житейских отношениях его всякий мог обойти и обмануть.

Прежде всего его со всех сторон всячески обирали и эксплуатировали. Получая хорошие заработки со своих литературных произведений, он оставался вечно без гроша, а иногда даже почти без платья. Он был *бессребреником* в буквальном смысле слова, потому что серебро решительно не уживалось в его кармане; и это — не только вследствие редкой *детской* его доброты, но также вследствие решительной его неспособности ценить и считать деньги. Когда у него их просили, он вынимал бумажник и давал не глядя, сколько захватит рука, и это — с одинаковым доверием ко всякому просившему. Когда же у него не было денег, он снимал с себя верхнее платье. Помню, как однажды глубокой осенью в Москве я застал его страждущим от холода; весь гардероб его в то время состоял из легкой пиджачной пары альпага и из еще более легкой серой крылатки: только что перед тем, не имея денег, он отдал какому-то просителю все суконное и во-

обще теплое, что у него было: он рассчитывал, что *к зиме успеет заработать себе на шубу*. В. Л. Величко припоминает аналогичные случаи, когда, раздав все свои вещи, Соловьев затем носил фрак с бурыми пиджачными брюками, временно надевал шубу одного приятеля или увозил за тридевять земель шляпу другого *. Другой приятель его, доктор Петровский, также свидетельствует о «беспримерной» щедрости Соловьева. По его словам, покойный философ «в материальном отношении всегда действовал как богач в смысле помощи ближнему, несмотря на то что сам добывал средства к существованию исключительно лишь литературным трудом. «Если возможно было вычислить, какую часть своих скромных доходов он отдавал тем, которые обращались к нему за денежной помощью, то, наверное, получились бы очень интересные цифры» **. В царских «на чаях» и в щедрой благотворительности он видел способ восстановления «непосредственной экономической справедливости» ***.

Между просителями, осаждавшими философа, понятное дело, бывали *всякие*. Однажды, надеясь экономичнее распорядиться своим летом, он поселился в крестьянской избе; но пребывание в деревне обошлось ему не дешево: он, между прочим, дал денег на покупку коровы крестьянину, который потом оказался одним из богатейших в селе и едва ли не кулаком. Зная его безграничную щедрость, извозчики иногда облепляли его подъезд, часами дожидаясь его выхода из дому: но пешие прогулки обходились ему еще дороже, так как он горстями давал нищим, чему мне не раз приходилось быть свидетелем. В. Л. Величко рассказывает об одной его прогулке по Петербургу, когда он отдал нищим все свои деньги, кошелек, пустой бумажник, носовой платок и старые ботинки. В результате философ остался без обуви, так как новые ботинки оказались не по мерке, а других купить было не на что: если бы не выручивший его приятель — он остался бы без обеда ****.

Неудивительно, что при таких условиях Соловьев постоянно испытывал острую нужду и всячески сокращал свои потребности. Своему другу, доктору Петровскому, он говорил, что «обедать через день совершенно достаточно для человека и что потребность в каждомдневном обеде есть не что иное, как дурная привычка» *****. О пустоте своего кармана сам он говорит в стихах:

* Владимир Соловьев. С. 146.

** Памяти Соловьева (Вопросы философии. 1905. Кн. 56. Янв.—февр.).

*** Величко. Указ. соч. С. 147.

**** Указ. соч. С. 148—149.

***** Цит. статья. С. 40.

Идти пешком (из Лондона в Сахару
 Не возят даром молодых людей,
 В моем кармане хоть кататься шару,
 И я живу в кредит уж много дней).

Из писем его видно, что он всегда в таком положении. То он пишет родителям на клочке, «потому что бумаги купить не на что» *, то сообщает «с душевным прискорбием о преждевременной кончине своих капиталов» **, то извещает, что накануне получения денег истратил последний пятиалтынный *** или что он сидит без нужды в Петербурге «отчасти потому, что выехать не с чем». В письме к Аксакову он изыскивает средства, чтобы сделать обычный денежный подарок некоему N, по-видимому нуждающемуся, и в то же время говорит о собственном денежном положении: «А мне в последнее время приходится вспоминать о некоторых критических минутах в жизни Иова...» **** В письме к Э. Л. Радлову как нельзя более наглядно обрисовывается то свойство характера Соловьева, которое было причиной этой хронической нужды. Он ожидает получения денег за сочинения своего отца и свои собственные и заранее умоляет друга взять у него займы деньги на поездку в Карлсбад. «Таким образом, — прибавляет он, — я не только изглажу рукописание грех своих, но еще получу возможность, сам быв искушен, и искушаемым помощи» *****.

Об этой черте философа прекрасно говорит доктор Петровский: «Он — я хорошо знаю — всегда готов был обедать через день для того, чтобы доставить возможность обедать каждый день кому-либо другому, — без всякой мысли рекомендовать ему ту умеренность, которой следовал сам» **.

С этой горячностью сердца в Соловьеве сочетались наивность и доверчивость ребенка: он постоянно переоценивал людей, ошибался в них так, как, разумеется, не мог бы ошибиться человек с простым здравым смыслом. Особенно часто обманывался он в женщинах. Он легко пленялся ими, совершенно не распознавая прикрытой кокетством фальши, а иногда и ничтожества. Когда же наглядные доказательства, казалось, должны были бы привести его к полному разочарованию, он все-таки утверждал, что

* Письма. Т. II. 20.

** Там же. 8.

*** Там же. 12.

**** Там же. 290.

***** Письма. Т. I. 245.

** Цит. статья. С. 40.

«ее умопостигаемый характер прекрасен», а обнаруживавшиеся недостатки — только свойства «характера эмпирического». Глядя на действительность с недостижимой для простых смертных высоты, он, понятное дело, ясно видел общую картину жизни, но сбивался в оценке отдельных явлений, и в особенности индивидуальных характеров. Его неуравновешенное, вечно работавшее воображение часто приписывало людям несуществующие положительные качества. Мой покойный брат рассказывал мне, как однажды Соловьев по близорукости принял скорлупу деревянного пасхального яйца, надетую на палочку, за одиноко растущий цветок: брат разрушил его иллюзию в минуту, когда Соловьев, вдохновившись воображаемым цветком, писал о нем стихотворение. В его оценках людей беспрестанно повторялся тот же обман зрения.

Та же близорукость относительно житейского нередко вовлекала Соловьева в заблуждения противоположного свойства: иногда он предполагал адские замыслы там, где на самом деле были только самые обыденные и невинные человеческие поступки. Однажды, когда он ехал из Генуи в Канны, в занятое им отделение вагона вошла какая-то супружеская чета; оставив вещи на полке, она тотчас удалась, после чего поезд тронулся. Соловьеву мигом представилось, что в покинутом чемодане лежит зарезанный младенец. Взволнованный страшной картиной подозреваемого преступления, он решился заявить об этом кондуктору. Оказалось, разумеется, что в чемодане находились обыкновенные пассажирские вещи, а супруги просто-напросто завтракали в вагоне-ресторане. За это же путешествие с ним случилось другое характерное для него приключение: не рассчитав путевых издержек, он оказался без денег в Венеции и, чтобы доехать, должен был заложить свои часы.

С беспомощностью в Соловьеве сочеталась безалаберность человека, совершенно неприспособленного к жизни. Бесприютный скиталец, он вечно странствовал и не имел определенного местопребывания. У него никогда не было определенных часов ни для еды, ни для сна, ни для занятий. Он делал из ночи день, а из дня — ночь. Проведя вечер в кругу друзей, он иногда после ужина садился за занятия, писал целую ночь и ложился рано утром. Когда он оставался один, без заботливого попечения людей ему близких (что случалось с ним очень часто), он, не признавая завтраков и обедов, ел, и то не всегда, когда его вынуждал к тому голод, питаясь вегетарианской пищей. Но, если тут же заходил к нему приятель, он любил угощать его вином и сам пил, не справляясь о часах. С юных лет он имел пристрастие к тем дру-

жеским беседам, во время которых его заставляла «заря с Востока» *. В этом отношении он следовал своей особой теорией.

«Вообще, вино повышает энергию нервной системы и через нее — психической жизни на низших ступенях духовного развития, где преобладающая сила в душе еще принадлежит плотским мотивам, все, что возбуждает и поднимает служащую душе нервную энергию, идет на пользу этого господствующего плотского элемента и, следовательно, крайне вредно для духа; поэтому здесь необходимо полное воздержание “от вина и сикера”. Но на более высоких ступенях нравственной жизни, какие достигались и в языческом мире, например Сократом (см. Платонов «Пир»), — энергия организма служит более духовным, нежели плотским целям, и повышение нервной деятельности (разумеется, в пределах, не затрагивающих здоровья) усиливает действие духа и, следовательно, может быть в известной мере не только безвредно, но даже прямо полезно» **. В беседах со мной он выражал то же самое короче. Он находил, что вино — прекрасный реактив: в нем обнаруживается весь человек: кто скот, тот в вине станет совершенной скотиной, а кто человек — тот в вине станет ангелом.

В применении к Соловьеву эта теория вполне оправдывалась. Пир с ним были воистину «Платоновыми пирами»: он испытывал подъем духа, который передавался и другим: кто из его друзей не помнит этих вдохновенных бесед, этого моря чарующего и заразительного веселья! Но полезное для духа не всегда полезно для слабого, изнуренного хроническим недоеданием, истощенного тела.

Бившая из него ключом духовная жизнь вообще не укладывалась в какие бы то ни было житейские рамки: в нем была непокорная стихия, которая бунтовала против всего обыденного и в том числе — против всякого раз и навсегда заведенного порядка. Это та самая черта его характера, которая нашла себе образное выражение в его чудном стихотворении «Сайма»:

Озеро плещет волной беспокойною,
Словно как в море растущий прибой,
Рвется к чему-то стихия нестройная,
Спорит о чем-то с враждебной судьбой.

Знать, не по сердцу оковы гранитные!
Только в безмерном отраден покой.

* Собрание стихотворений. С. 138.

** Оправдание добра. II // Соловьев В. С. Собр. соч. Т. VII. С. 70.

Снятся былые века первобытные,
Хочется снова царить над землей.

Бейся, волнуйся, невольница дикая!
Вечный позор добровольным рабам.
Сбудется сон твой, стихия великая,
Будет простор всем свободным волнам.

В свободной душе Соловьева это возмущение против добровольных оков связано с тоской по синеве безбрежной.

Волна в разлуке с морем
Не ведает покою,
Ключом ли бьет кипучим
Иль катится рекою, —

Все ропщет и вздыхает,
В цепях и на просторе,
Тоскуя по безбрежном,
Бездонном синем море.

Само собою разумеется, что этот бунт против всего обыденного, житейского не прошел Соловьеву безнаказанным. В его неприспособленности к жизни заключается, без сомнения, главная причина его преждевременного конца. Новые творческие замыслы рождались в нем; и талант его рос и укреплялся, когда тело его, изнуренное трудом и болезнью, отказывалось ему служить. Врачи, окружавшие его перед смертью, удивлялись не тому, что он умирает, а тому, что он мог жить, и притом жить столь напряженной духовной и умственной жизнью, при такой степени физического упадка *. «Общую иннервацию» нашел у Соловьева уже за одиннадцать лет до его кончины известный Боткин, который тогда же поставил условием здоровья женитьбу и спокойный образ жизни, — то самое, что всего больше противоречило душевному складу философа. Пилюли, прописанные «за неисполнимостью совета» **, в данном случае, разумеется, не могли не оказаться плохим лекарством. Какие пилюли могут спасти человека, у которого атрофирован самый жизненный инстинкт, присущее всем смертным стремление к самосохранению. Эта особенность Соловьева как нельзя более ярко изображалась в самой его наружности: не будучи аскетом, он имел вид изможденный и представлял собой какие-то живые мощи. Густые локоны, спускавшиеся до плеч, делали его похожим на ико-

* *Кн. С. Трубецкой*. Основное начало учения В. Соловьева // *Собр. соч.* Т. 1. С. 352.

** *Письма*. Т. II. С. 64.

ну. Характерно, что его часто принимали за духовное лицо: его встречают возгласом: «Как, Вы здесь, батюшка!» Маленькие дети, хватая его за полы шубы, восклицают: «Боженька, боженька!» *

С этой наружностью аскета резко контрастировал его звучный, громкий голос: он поражал своей, неизвестно откуда шедшей, мистической силой и глубиной.

III

Работа мысли и воображения Соловьева никогда не останавливалась: она достигала высшего своего напряжения именно в те часы, когда он, по-видимому, ничем не был занят. Он не имел обыкновения думать с пером в руке: он брался за перо только для того, чтобы записать произведение, уже раньше созревшее и окончательно сложившееся в его голове; самый же процесс творчества происходил у него или на ходу, во время прогулки или приятельской беседы, или же, наконец, в часы бессонницы, не прекращаясь даже и во время сна: ему случалось просыпаться с готовым стихотворением. Поэтому для него, собственно говоря, не существовало отдыха и всего менее он отдыхал во сне *.

По собственному его признанию, которое мне приходилось от него слышать, сон был для него «как бы окном в другой мир»: во сне он нередко беседовал с умершими, видел видения — иногда вещие, пророческие, иногда фантастические, странные. Об этих беседах с отшедшими говорит одно из характерных для него стихотворений:

Лишь только тень живых, мелькнувши, исчезает,
Тень мертвых уж близка,
И радость горькая им снова отвечает,
И сладкая тоска¹⁰.

Или, еще лучше, в том же роде:

Едва покинул я житейское волнение,
Отшедшие друзья уж собрались толпой,
И прошлых смутных лет далекие виденья
Яснее и ясней выходят предо мной.

* Там же. С. 46.

** Строки эти были написаны на основании моих собственных наблюдений; но совершенно так же описывают процесс творчества Соловьева два других друга: *Кн. С. Трубецкой*. Указ. соч. С. 356; *Рачинский Г. А.* // Вопросы философии. 1905. Кн. 56. С. 131.

Весь свет земного дня вдруг гаснет и бледнеет,
 Печалью сладкою душа упоена,
 Еще незримая — уже звучит и веет
 Дыханьем вечности грядущая весна.

Я знаю: это вы к земле свой взор склонили,
 Вы подняли меня над тяжелой суетой
 И память вечного свиданья оживили,
 Едва не смытую житейскою волной.

Еще не вижу вас, но в час предназначенья,
 Когда злой жизни дань всю до конца отдам,
 Вы въявь откроете обитель примиренья
 И путь укажете к немеркнувшим звездам¹¹.

Соловьев верил в реальность, *действительность* этого общения с умершими. Душевная потребность в нем связывалась для него с самой сущностью его религиозного и философского идеала. Он верил в действительность воспринятых во сне откровений; и это тем более, что предсказания его сновидений нередко сбывались.

Его посещали не одни «родные тени». Кроме этих дорогих ему видений, ему являлись и страшные, притом не только во сне, но и наяву. В. Л. Величко, как и многие другие, рассказывает, что «он видел дьявола и пререкался с ним»^{*}; некоторые друзья знали заклинание, которое он творил в подобных случаях. В моем присутствии однажды он, несомненно, что-то видел: среди оживленного разговора в ресторане за ужином он вдруг побледнел с выражением ужаса в остановившемся взгляде и стал напряженно смотреть в одну точку. Мне стало жутко, на него глядя. Тут он не захотел рассказывать, что, собственно, он видел, и, придя в себя, поспешил заговорить о чем-то постороннем. Но в других случаях он рассказывал.

У него бывали всякого рода галлюцинации — зрительные и слуховые; кроме страшных были и комичные, и почти все были необычайно нелепы. Как-то раз, например, лежа на диване в темной комнате, он услышал над самым ухом резкий металлический голос, отчеканивавший каждое слово: «Я не могу тебя видеть потому, что ты так окружен». В другой раз рано утром, тотчас после его пробуждения, ему явился восточный человек в чалме. Он произнес необычайный вздор по поводу только что написанной Соловьевым статьи о Японии («Ехал по дороге, про буддизм читал, вот тебе буддизм») и ткнул его в живот необычайно длин-

^{*} Указ. соч. С. 164.

ным зонтиком. Видение исчезло, а Соловьев ощутил сильную боль в печени, которая потом продолжалась три дня.

Такие болевые ощущения и другие болезненные явления у него бывали почти всегда после видений. По этому поводу я как-то сказал ему: «Твои видения — просто-напросто — галлюцинации твоих болезней». Он тотчас согласился со мной. Но это согласие нельзя истолковывать в том смысле, чтобы Соловьев отрицал реальность своих видений. В его устах слова эти значили, что болезнь делает наше воображение восприимчивым к таким воздействиям духовного мира, к которым люди здоровые остаются совершенно нечувствительными. Поэтому он в подобных случаях не отрицал необходимости лечения. Он признавал в галлюцинациях явления субъективного, и притом больного, воображения. Но это не мешало ему верить в объективную причину галлюцинации, которая в нас *воображается, воплощается* через посредство субъективного воображения во внешней действительности. Словом, в своих галлюцинациях он признавал *явления медиумические*. И в самом деле, как бы мы ни истолковывали спиритические явления, какого бы взгляда ни держались на их причину, нельзя не признать, что самые *явления* переживались Соловьевым очень часто. Он, во всяком случае, был очень сильный медиум, хотя медиум невольный, пассивный.

В юные годы он очень увлекался спиритизмом и был вводим в обман разного рода мнимыми откровениями. Это послужило поводом к скорому разочарованию. В зрелых годах, когда мирозерцание его вполне сложилось, Соловьев относился к спиритическим сеансам, безусловно, отрицательно, как к занятию не только праздному, но и греховному. Уже в 1875 году он пишет из Лондона кн. Д. Н. Цертелеву: «На меня английский спиритизм произвел точно такое же впечатление, как на тебя французский: шарлатаны с одной стороны, слепые верующие — с другой; и маленькое зерно действительной магии, распознать которое в такой среде нет почти никакой возможности. Был я на сеансе у знаменитого Вильямса и нашел, что это фокусник более наглый, нежели искусный. Тьму египетскую он произвел, но других чудес не показал. Когда летавший во мраке колокольчик сел на мою голову, я схватил вместе с ним мускулистую руку, владелец которой духом себя не объявил. После этого остальные подробности малоинтересны» *. Впоследствии Соловьев высказывал о спиритизме суждения еще более отрицательные; но, как бы то ни было, это увлечение его молодости не прошло ему даром: оно

* Письма. Т. II. С. 228.

расстроило его нервную систему и, без сомнения, усилило его предрасположение к галлюцинациям. Если бы не эти добровольные занятия спиритизмом, он, может быть, и не стал бы *невольным* медиумом.

Охарактеризованное только что отношение Соловьева к галлюцинациям тесно связано с существенными чертами его миро-созерцания. Духовный мир был для него не отвлеченным умо-представлением, а живой действительностью и предметом опыта. Он не признавал ничего неодухотворенного: мир телесный в его глазах представлял собою не самостоятельное, самодовлеющее целое, а сферу проявления и воплощения невидимых духовных сил. Тут мы соприкасаемся с наиболее чуждою, непонятною современникам чертою умственного облика Соловьева: он мог бы подписаться под изречением древнего Фалеса: «Все полно богов». Он видел деятельность незримых сил духовных в самых разнообразных явлениях природы: в движении волн морских, в молнии и громае. Они наполняли для него таинственной жизнью и леса, и горы. Мир сказочный с его водяными, русалками и лешими был ему не только понятен, но и сроден: внешняя природа была для него или иносказанием, или прозрачной оболочкой — средой, в которой господствуют деятели зрячие, сознательные: развитие природы для него — непрерывно совершающееся, а потому несовершенное и незаконченное откровение иной, сверх-природной, действительности. В таком понимании природы заключается один из наиболее могучих источников поэтического вдохновения Соловьева. Здесь корень того необычайного подъема душевного, который вызывается в нем созерцанием ее красоты: когда он видит горы и море, у него вырастают крылья*, а осенний вид вызывает в нем молитвенное настроение.

В этих поэтических видениях у Соловьева облекается в плоть и кровь его философское понимание природы. В поэтической интуиции он чувствует мировую душу, вступает в общение с «вла-дычицей земли»:

* См. приведенное уже выше стихотворение «В Альпах»:

...Замерла бесконечная даль.
И роскошно блестящей и шумной весны
Примиренному сердцу не жаль.

И как будто земля, отходя на покой,
Погрузилась в молитву без слов,
И спускается с неба невидимый рой,
Бледнокрылых, безмолвных духов.

Я озарен осеннею улыбкой —
 Она милей, чем яркий смех небес.
 Из-за толпы бесформенной и зыбкой
 Мелькает луч — и вдруг опять исчез.

Плачь, осень, плачь, — твои отградны слезы!
 Дрожащий лес, рыдания к небу шли!
 Реви, о буря, все свои угрозы,
 Чтоб истощить их на груди земли!

Владычица земли, небес и моря!
 Ты мне слышна сквозь этот мрачный стон.
 И вот твой взор, с враждебной мглою спора,
 Вдруг озарил прозревший небосклон¹².

В другой раз, обращаясь к земле-владычице, поэт прямо говорит:

Родного сердца пламень ощутил я,
 Услышал трепет жизни мировой¹³.

В этом проникновении в тайну мировой жизни он находит исцеление земным страданиям, он верит в животворящую силу красоты:

И призраки ушли, и вера неизменна,
 А вот и солнце вдруг взглянуло из-за туч.
 Владычица-земля! Твоя краса нетленна,
 И светлый богатырь бессмертен и могуч¹⁴.

Природа жива! В этом залог нашей надежды на окончательное торжество жизни над смертью. Рано или поздно восторжествуют те зрячие силы, коих несовершенное явление мы уже теперь наблюдаем во внешнем мире. Тогда земля вернет умерших к жизни. На эти мысли наводит философа вид урожая в Нильской дельте:

Золотые, изумрудные,
 Черноземные поля...
 Не скупа ты, многотрудная,
 Молчаливая земля!

Это лоно плодотворное —
 Сколько дремлющих веков —
 Принимало, всепокорное
 Семена и мертвецов.

Но не все, тобою взятое,
 Вверх несла ты каждый год:
 Смертью древнею залятое
 Для себя весны все ждет.

Не Изида трехвенечная
 Ту весну им приведет,
 А нетронутая, вечная
 «Дева Радужных Ворот»¹⁵.

Одно и то же понимание природы рождало эти чудные поэтические образы и вместе с тем было источником целого ряда невероятных чудачеств, поражавших в Соловьеве. Этот человек, веривший в существование добрых и злых духовных сил, населяющих природу, молившийся владычице-земле и обращавшийся со стихотворными увещаниями к «морским чертям», в наш скептический век являл собою как бы олицетворенный парадокс. Философ-мистик, для которого духовный мир и мир духов — не только предмет веры и постижения, а доступное наблюдению явление, в качестве *чужого* нашему времени неизбежно должен казаться чудным. Неудивительно, что вся философия Соловьева представлялась большинству его современников сплошным чудачеством; и это — тем более, что он, с его редким чутьем к пошлости всего ходячего, общепринятого, обладал в необычайной степени духом противоречия.

Эта черта, присущая многим сильным умам, особенно понятна в Соловьеве. Та доступная внешним чувствам действительность, которая для обыкновенного человека носит в себе печать подлинного и истинного, в глазах Соловьева представлялась не более как опрокинутым отражением мира невидимого, истинно сущего. Неудивительно, что подобное мирозерцание опрокидывало все общепринятые оценки существующего.

IV

Противоречие с общепринятым «нормальным» для философского облика Соловьева не есть что-либо внешнее, случайное: оно коренится в самом его существе.

Искание безусловного и безотносительного, наполнявшее душу философа, беспредельно расширяло его ум и не давало ему возможности окончательно удовлетвориться чем-либо условным, относительным. Тот широкий универсализм, в котором Достоевский усматривает особенность русского гения, был ему присущ в высшей мере; именно благодаря этому свойству он был беспощадным изобличителем всякой односторонности и тонким критиком: в каждом человеческом воззрении он тотчас разглядывал печать условного и относительного.

Наиболее распространенные, ходячие людские мнения редко представляют собою беспримесную истину или беспримесную

ложь: большею частью они заключают в себе пеструю смесь того и другого; они принимают сторону истины за *всю истину*. В каждом данном воззрении Соловьев легко угадывал его односторонность; и это тотчас заставляло его *противоречить*, т. е. выдвигать ту сторону истины, которая заключается в воззрении противоположном.

Как часто приходилось наблюдать эту черту в его спорах, в особенности философских и политических.

В начале его литературной деятельности в области публицистики господствовало западничество, в области философии — материализм и позитивизм. Соловьев, всегда плывший против течения, вступил на литературное поприще славянофилом; в философии он начал с блестящей полемики против материализма и позитивизма. В то время, в семидесятых годах, этим самым создавалось для него совершенно одинокое положение среди русских философов. Напротив, позднее, в восьмидесятых годах, когда началось наше с ним знакомство, мне приходилось встречать его преимущественно среди московского кружка молодых философов-идеалистов. Тут он чаще всего резко восставал против одностороннего идеализма и спиритуализма, подчеркивая относительную истину материализма и позитивизма. В реферате, читанном в Петербурге в 1898 году на собрании Философского общества, сам он так говорит о своем отношении к Огюсту Конту: «Более двадцати лет тому назад мне пришлось на этом самом месте начать свое публичное поприще резким нападением на позитивную философию. Мне нет причины в этом раскаиваться. Во-первых, в то время на позитивизм у нас была мода и, как водится, эта умственная мода становилась идолопоклонством, слепым и нетерпимым ко всем “несогласно мыслящим”. Противодействие тут было не только извинительно и уместно, но и обязательно для начинающего философа, как первый экзамен в серьезности философского призвания. А во-вторых, это идолопоклонство, несправедливое к иноверцам, обижало и самого идола: за целого Конта выдавалась только первая половина его учения, а другая — и, по мнению учителя, наиболее значительная, окончательная — замалчивалась. Но если мне не приходится раскаиваться в факте своего нападения и если на мне нет вины перед позитивизмом тогдашнего русского общества, то долг перед Контом все-таки остается, долг указать зерно истины в его действительном, целом учении» *.

* Идея человечества у Августа Конта. Т. VIII. С. 225.

В те дни, когда эти слова были сказаны, отрицательное отношение к позитивизму уже, в свою очередь, стало входить в моду; частые его опровержения начинали надоедать повторением одних и тех же доводов, ставших почти обязательными. Та же история повторилась и с отношением философа к славянофильству. Пока оно было в загоне, Соловьев был славянофилом; как только оно вошло в силу, выродилось в национализм и превратилось в *идолопоклонство* — он вышел из славянофильского лагеря и стал выдвигать ту сторону истины, которая заключалась в западничестве.

Ничто так не раздражало покойного философа, как идолопоклонство. Когда ему приходилось иметь дело с узким догматизмом, возводившим что-либо условное и относительное в безусловное, дух противоречия сказывался в нем с особой страстностью. В особенности жестоко доставалось от него наиболее вредным из всех идолов — идолам политическим. Таких идолов он находил в самых противоположных воззрениях — в славянофильстве и в западническом либерализме, в учении Каткова и в социализме. Обыкновенно он обрушивался всеми силами против того идола, которому наиболее поклонялись в среде, где он в данное время жил. Поэтому перемена местопребывания не оставалась без влияния на его полемику. Его полемические статьи против славянофилов, Каткова и иных эпигонов славянофильства относятся большею частью к тому времени, когда он проживал преимущественно в Москве, часто сталкиваясь с деятелями Страстного бульвара и вообще с националистами. Напротив, его известная статья «Византизм и Россия», близкая к славянофильству по своей положительной оценке неограниченного самодержавия, была написана в то время, когда он вращался преимущественно в либеральных западнических кругах в Петербурге. Статья эта была напечатана в «Вестнике Европы», который в данном случае сыграл роль унтер-офицерской вдовы из «Ревизора». Соловьев заслужил горячие похвалы от «Московских ведомостей», незадолго перед тем его распинавших.

Тот самый универсализм, который заставлял Соловьева вставать против идолов, обуславливал его чрезвычайно высокую оценку *относительного*. В его глазах относительное только тогда становится ложью, когда оно *возводится в безусловное*, становится на его место; напротив, относительное, утверждаемое как таковое, составляет необходимую часть целой, *вселенской* истины. Редкая широта его кругозора давала ему возможность угадывать не только ограниченность и ложь каждого данного воззрения, но и то зерно истины, которое оно в себе заключает.

Неудивительно, что мы находим у него положительные оценки самых противоположных и несходных мирозозерцаний. Он — верующий христианин, но это не мешает ему находить элементы положительного откровения не только в исламе, но и во всевозможных языческих религиях Востока и Запада. Философ-мистик, он тем не менее высоко ценит ту относительную истину, которая заключается в учениях рационалистических и эмпирических. Как политик и публицист он не может быть назван ни социалистом, ни индивидуалистом, ни консерватором, ни либералом, потому что он видит правду в каждом из этих противоположных направлений и пытается объединить их в органическом синтезе. Характеризуя поэзию гр. А. К. Толстого, Соловьев, между прочим, отмечает в покойном поэте черту, глубоко ему сродную: он боролся оружием свободного слова за права красоты, которая есть осязательная форма истины, и за жизненные права человеческой личности. *«Но именно потому, что путь, указанный поэту, был правдивый и борьба на этом пути была борьбою за высшую правду, за интересы безусловного и вечного достоинства, она возвышала поэта не только над житейскими и корыстными битвами, но и над тою партийною борьбою, которая может быть бескорыстною, но не может быть правдивою, ибо она заставляет видеть все в белом цвете на своей стороне и все в черном — на стороне враждебной; а такого равномерного распределения цветов на самом деле не бывает и не будет — по крайней мере, до Страшного суда»* *.

Так же как и для Толстого, для Соловьева характерна эта неспособность «отдаться всецело одному из враждующих станом». Разбирая великий спор христианских церквей, он прямо говорит о *«невозможности пристать ни к одной из спорящих сторон»* **. Такое же положение Соловьев занимал во всех великих спорах его времени — религиозных, философских, политических. С одной стороны, как справедливо замечает Э. Л. Радлов *** о нем, «самые разнообразные направления и общественные течения с некоторым правом могли сказать: «он наш»; но, с другой стороны, именно поэтому всем *односторонним* направлениям он был одинаково чуждым. Всем близкий, он был, есть и остается до сих пор не понятым почти всеми. Одиночество этого мыслителя, столь отзывчивого ко всему человеческому, — одна из тех парадоксальных черт, которых так много в его судьбе. А между

* Поэзия гр. А. К. Толстого // Соловьев В. С. Собр. соч. Т. VI. С. 48.

** Великий спор и христианская политика. С. 71¹⁶.

*** В предисловии к IX т. соч. Соловьева, с. XVIII.

тем оно вполне понятно и естественно: оно объясняется не только глубиной, но и беспредельною *широтой* его воззрений. Среднему человеку труднее всего понять то, что не укладывается в прокрустово ложе какого-нибудь партийного течения, то, что не может быть охарактеризовано каким-нибудь шаблонным ярлыком. Политик, который не отождествляет себя с какой-либо определенной партией, а пытается стоять над партиями, сочетая в своем уме истину каждой, со всех сторон вызывает к себе враждебное и несправедливое отношение: одни заподозривают в нем реакционера, другие, наоборот, крамольника: диалектический переход от одной точки зрения к другой понимается как выражение непостоянства, изменчивости в убеждениях, а попытка объединения, синтеза противоположностей принимается за внутреннее противоречие. Соловьеву в течение всей своей жизни приходилось страдать от такого партийного к себе отношения, и не в одной политике. Современники в огромном большинстве судили о нем весьма поверхностно: одни приклеивали к нему ярлык «славянофила»; в славянофильском лагере, наоборот, его в то же самое время травили как «западника», «католика» и даже «изменника». При этом нельзя сказать, чтобы никто его не ценил: многие восхищались им как публицистом, другие пленялись его стихами, третьих привлекала какая-либо сторона его религиозных и философских воззрений; но почти никто не охватывал его миропонимания в его целом: то, что составляло сущность его воззрений, было доступно лишь весьма немногим*.

В стране морозных вьюг, среди седых туманов
Явилась ты на свет.

И, бедное дитя, меж двух враждебных станов
Тебе приюта нет¹⁷.

По-видимому, здесь он разумел свое религиозное и философское учение.

* Ср.: *Кн. С. Трубецкой*. Основное начало учения Соловьева: «С различных сторон ему хотели навязать принципы, которым он никогда не служил. Люди различных партий считали его своим, потому что он признавал их относительную правду: и они же яростно нападали на него и обвиняли в отступничестве, когда убеждались, что он не считал их правду безусловною; кто только не звал его ренегатом! Еще недавно в одной из речей, произнесенных в его память, было сказано, что, как публицист, он плыл без компаса. *И как это бывает всегда, его называли беспринципным, потому что он неизменно служил одному высшему принципу*» (Собр. соч. Т. 1. С. 364).

В жизни Соловьева выразились те же черты характера, как и в его мировоззрении. Как в своем учении он не мог успокоиться на каком-либо одностороннем начале, так и в жизни он не мог окончательно плениться чем-либо, носившим печать преходящего, временного. В его уме и в его сердце было слишком много струн, чтобы какая-либо односторонняя привязанность или одностороннее чувство могли завладеть им окончательно. Он был горячим и верным другом. Ради друзей он был всегда готов на жертвы; будь это нужно, он не задумался бы положить за них душу; но было бы совершенно невозможно представить себе его супругом и отцом.

Чувство любви к женщине было хорошо и близко ему знакомо. Оно играло огромную роль в его душевном настроении и творчестве; в течение своей жизни он был влюблен много раз, горячо и страстно. Однако и это чувство не могло его приковать: ибо и здесь элемент универсальный преобладал над личным, индивидуальным. Черта эта заслуживает с нашей стороны особого внимания ввиду ее огромного значения для мирозерцания покойного философа.

В одном из лучших стихотворений Соловьева — «Три свидания» есть полное невыразимой прелести описание его первой, *детской* любви:

Мне девять лет, *она*... — ей девять тоже.
«Был майский день в Москве», как молвил Фет.
Признался я. Молчание. О, Боже!
Соперник есть. А! он мне даст ответ.

Дуэль, дуэль! Обедня в Вознесенье.
Душа кипит в потоке страстных мук.
Житейское... отложим... попеченье —
Тянулся, замирал и замер звук.

Алтарь открыт... Но где ж священник, дьякон?
И где толпа молящихся людей?
Страстей поток — бесследно вдруг иссяк он.
Лазурь кругом, лазурь в душе моей.

Пронизана лазурью золотистой,
В руке держа цветок нездешних стран,
Стояла ты с улыбкою лучистой,
Кивнула мне и скрылася в туман.

И детская любовь чужой мне стала,
Душа моя — к житейскому слепа!..

А немка-бонна грустно повторяла:
«Володинька — ах, слишком он глупá».

По объяснению Соловьева, *«она»* первой из приведенных строф была маленькой барышней и не имела ничего общего с тою *«ты»*, которая явилась «с цветком нездешних стран». Кто знает философию Соловьева, тот поймет, что эта *«ты»*, явившаяся философу, не что иное, как «вечно женственное», Премудрость Божия или, что то же, идеальный образ всеединства — вечный прообраз всего сотворенного. Это видение, являющееся среди любовного экстаза, характерно не только для детского возраста философа, но и для его любви вообще. И в зрелых годах «страстей поток» в нем умолкал перед голосом высшего призвания; он видел голубую лазурь *над* любимым предметом и *над* своей любовью.

Во многих случаях этого бывает достаточно, чтобы заставить забыть о *«маленькой барышне»*. В другом стихотворении мы читаем:

О, как в тебе лазури чистой много
И черных, черных туч.
Как ясно над тобой сияет отблеск Бога,
Как злой огонь в тебе томителен и жгуч¹⁸.

Приковать к себе чувство Соловьева была бы в состоянии только женщина, которая могла бы *удержать* в себе лазурь и светить ему небесным светом. Таких, как известно, немного. Из тех, которых он встречал, большинство поглощались «житейскими попечениями»; а потому не могли укорениться в душе философа. В любви он признавал себя «скитальцем».

Ужели обман — эта ласка нежданная!
Ужели скитальцу изменишь и ты?
Но сердце твердит: это пристань желанная
У ног безмятежной святой красоты¹⁹.

По самому существу своего духовного склада Соловьев не мог надолго успокоиться в какой-либо «пристани». И это обусловливается не слабостью его чувства, а как раз наоборот — его бездонной глубиной и силой и теми повышенными, сверхчеловеческими требованиями, которые сочетаются у него с любовью. В стихах и прозе он твердит, что в любви раскрывается высший смысл жизни, что любовь для него «все», что без нее «мир потеряет все краски». В ней одна правда; и вне ее — все только тень. Но, с другой стороны, в самой его любви таится недоверие к ее предмету — стремление возвыситься над ним.

Милый друг, не верю я нисколько
 Ни словам твоим, ни чувствам, ни глазам,
 И себе не верю, верю только
 В высоте сияющим звездам²⁰.

Соловьев всегда испытывал то раздвоение любовного чувства, о котором он говорит в приведенном уже стихотворении «Три свидания». Как бы ни было горячо и страстно в нем влечение к женщинам, оно бледнело и потухало, когда философа посещало таинственное видение «с цветком нездешних стран» в руке. Неудивительно, что он видел в любви не осуществленную на земле задачу. Самая высота и безбрежность этого чувства, как он его переживал, не позволяла ему вместить его в какие-либо определенные житейские рамки.

В силу тех же особенностей своего гения, которые не позволяли ему связать себя постоянными узами брака, Соловьев вообще не мог ввести свою жизнь в какое-либо определенное житейское русло. Он был совершенно не способен занимать какую-либо постоянную должность. Самая преподавательская его деятельность была лишь кратким, даже, пожалуй, случайным эпизодом. Предложения занять ту или другую кафедру были неоднократно им отклоняемы. Он, переживавший непрестанную тревогу творчества, не мог подчинить свою умственную деятельность какому-либо не зависящему от него плану академического преподавания. Его подвижный, разносторонний ум нуждался в свободе передвижения; поэтому обязательство в течение определенного срока сообщить слушателям те или другие сведения — было бы ему совсем не по нутру. Своим духовным и, пожалуй, даже физическим обликом он напоминал тот созданный бродячей Русью тип странника, который ищет вышнего Иерусалима, а потому странствует по всему необъятному простору земли, чтит и посещает все святыни, но не останавливается надолго ни в какой *здешней* обители*. В такой жизни материальные заботы не занимают много места: у странников они олицетворяются всего только небольшой котомкой за плечами.

Сам Соловьев сознавал себя таким. В «Трех свиданиях», вспоминая свое искание откровений в пустыне египетской, он сравнивает себя с дядей Власом Некрасова. В шуточный тон тут облекается весьма серьезный смысл. Все стихотворение, по признанию Соловьева (в подстрочном к нему примечании), воспроизводит в

* В русской литературе это не единственный тип в этом роде. Гоголь, между прочим, был писателем-странником в религиозном значении этого слова.

шутливых стихах самое значительное из того, что до той поры случилось с ним в жизни.

С тем же образом странника связывается и другая стихотворная характеристика его жизненного пути:

В тумане утреннем неверными шагами
Я шел к таинственным и чудным берегам.
Боролась заря с последними звездами,
Еще летали сны — и, схваченная снами,
Душа молилася неведомым богам.

В холодный белый день дорогой одинокой,
Как прежде, я иду в неведомой стране.
Рассеялся туман, и явно видит око,
Как труден горный путь и как еще далеко,
Далеко все, что грезилося мне.

И до полуночи неробкими шагами
Все буду я идти к желанным берегам,
Туда, где на горе, под новыми звездами,
Весь пламенеющий победными огнями
Меня дождется мой заветный храм²¹.

Духовный облик, выразившийся здесь, наложил свою печать на все мирозерцание Соловьева, на все его хождения по святыням предшествовавшей мысли — западноевропейской и русской. В истории философии трудно найти более широкий, всеобъемлющий синтез того великого и ценного, что произвела человеческая мысль. Ценностей, унаследованных от прошлого, он не отвергал, напротив, он их тщательно собирал: все они вмещались в его душу и в его философии; но он не находил в них *окончательного* удовлетворения. Он видел в них частные проявления единой и всецелой истины, разнообразные преломления того света, который всем светит, но в полноте своей доселе еще не раскрывался ни в каком человеческом учении. Тот заветный храм, который он искал, — для него характеризовался словами Евангелия: «В доме Отца моего обителей много»²².

Здесь святое святых философа, конец его умственных странствований и вместе с тем тот предел, у которого должна остановиться его характеристика.

